

Ольга Барановская

МЕТОДОЛОГИЯ ИНТЕРПРЕТАЦИИ В ПРЕДЕЛАХ И ЗА ПРЕДЕЛАМИ СТРУКТУРЫ ТЕКСТА

Парадоксальной можно было бы считать ту ситуацию, когда, обращаясь к высказыванию, сделанному на хорошо знакомом языке, мы часто оказываемся не в состоянии понять его непосредственно и нуждаемся во вспомогательных средствах, позволяющих определить, что же хотел сказать автор. При этом требуется пересказать его другими словами или вообще на другом языке, что, как правило, не входит в планы автора (зачастую, его просто обижают), чревато существенными погрешностями по отношению к тексту, да и не дает гарантий в достижении желаемого «правильного» понимания. Но парадокса здесь нет, а есть проблема, обусловленная самостоятельностью и непрозрачностью внутренней организации языка, работы сознания, референциями различного типа. Вариативность и неопределенность процесса смыслообразования, возникающие в результате взаимодействия, пересечения, вытеснения и воспроизведения элементов, функций языка и актов сознания, привлекают и отталкивают в равной степени, создавая как возможности обогащения, развития культурных форм, так и глубочайшие культурные, мировоззренческие, антропологические расслоения, разночтения и конфликты.

И поэтому данная проблема не может остаться без внимания, а ее решение – в границах единичности «личного мнения», ведь так или иначе мы сталкиваемся с необходимостью отбора значимых, точнее, общезначимых смыслов, выбора позиций, располагающихся в иерархии качественных уровней понимания, соответствующих тем или иным стандартам, требованиям или культурным нормам. Даже если и допустить реальную возможность такой предельно нейтральной, толерантной коммуникативной среды, когда любое индивидуальное предпочтение, любой смысл, будет считаться приемлемым и востребованным, то сама эта возможность должна быть обоснована на уровне глубинных оснований, обеспечивающих переводимость, сопоставимость, перетекаемость смыслов и значений, текстов, структур и моделей языка.

Наличие смысла предполагается не только противопоставлением смысла и бессмыслицы, смысла и абсурда (и бессмыслица и абсурд могут нести в себе свой смысл), но и тем, когда смысл может быть явным или скрытым, ясным или туманным, может быть глубинным или поверхностным, прямым или косвенным, выразимым или невыразимым, адекватным или искаженным и т. п. Причем острота различий между этими вариантами проявляется в зависимости от того, что мы оказываемся в состоянии видеть и понять, а это, в конечном итоге, приводит к вопросу о границах субъективного и произвольного в полагании смысла, с одной стороны, и

к вопросу о статусе «объективного» смысла, с другой.

Обращаясь к проблеме обнаружения смысла и, соответственно – к проблеме интерпретации текста, философия XX века открыла широкий, хотя и обозримый, спектр возможных решений в исследовании условий смыслообразования и смыслополагания. Общая направленность этих решений лежит в рамках определения смысла как отношения, интегрирующая функция которого служит связующим началом как для актов сознания, так и для элементов и функций языковой или знаковой системы. Здесь открываются два пути, которые дают свою перспективу решения, но и в то же время создают свои проблемы – это, с одной стороны, путь, устанавливающий необходимость введения тех или иных ограничений, позволяющих «уловить» смысл, обнаружить и зафиксировать факторы, условия конституирования смысла, т. к. «то, что не имеет конца, не имеет и смысла. Осмысление связано с сегментацией недискретного пространства» [6, с. 137]; а, с другой стороны, это стремление научиться следовать за «неуловимым» смыслом, акцентируясь на принципиальной транзитивности этого «пассажира без места», по выражению Ж. Делеза.

Одним из примеров первого пути можно считать структурализм, второго – деконструкцию, причем наш выбор именно этих направлений связан с тем, что, представляя две различные парадигмы, они тесно примыкают друг к другу, демонстрируя последовательность методологического перехода в решении одной и той же задачи – открыть не изреченное явно, открыть то, о чем текст умалчивает. Конечно, вокруг решения этой задачи концентрируются практически все философские направления, предлагающие те или иные стратегии интерпретации, однако в данном случае нам важно сопоставить то, как «работают» методологические принципы структурализма и деконструкции в той их установке, которая требует ограничения только текстовой реальностью или реальностью самого языка.

Структурный анализ, если подразумевать его методологическую значимость (оставляя в стороне его нацеленность на поиск универсальных структур, имеющих онтологический статус), заключается в построении структурной модели текста и дает надежду на ясно формулируемый результат в его истолковании. По справедливому и достаточно точному заключению У. Эко, «...структурная критика сводит то, что *было* движением (генезис) и что *станет* движением (бесконечной возможностью прочтений), в пространственную модель, потому что только так можно удержать то неизреченное, чем было художественное произведение (как сообщение) в его становлении (источник информации) и в его пересотворении (истолкование получателем). Структуралист призван к тому, чтобы справляться с тяготами неизреченности, которая всегда создавала трудности для критического суждения и описания поэтических механизмов. Критикоструктуралисту прекрасно известно, что художественное произведение

не сводимо ни к схеме, ни к ряду схем, из него извлеченных, но он загоняет его в схему для того, чтобы разобраться в механизмах, которые обеспечивают богатство прочтений и, стало быть, непрестанное надделение смыслом произведения-сообщения» [8, с. 362–363].

Принцип, с которым к осуществлению структуралистского проекта подходит Р. Барт, заключается в выявлении предельного объема возможных смыслов, рождающихся в литературном произведении. Полагая множественность смыслов литературного текста, «можно нацелиться разом на все смыслы, которые оно объемлет, или, что то же самое, на тот полный смысл, который всем им служит опорой...» [1, с. 373]. Именно такой подход, суть которого, с точки зрения Барта, состоит в описании логики порождения любых смыслов, должен стать основанием для *науки* о литературе. Надление текста каким-либо конкретным значением или смыслом может считаться рискованной привилегией литературной критики, однако в качестве акта профилированного прочтения или средства интерпретации критика все же должна ориентироваться на смысл как разворачивание и взаимосвязанность символов, а это означает – должна соотноситься с задачами науки о литературе.

В этой связи неминуем вопрос о степени верности критического дискурса, ведь, во-первых, символичность текста оказывается недоступной для анализа в силу того, что язык произведения и язык интерпретации принципиально не совпадают, а во-вторых, поскольку «писать – значит в известном смысле расчленять мир (или книгу) и затем составлять заново», то в акте истолкования обязательно появляется новый смысл, и кроме этого «для того, чтобы «деформировать» текст, нет совершенно никакой надобности добавлять в него что-либо от себя: для этого достаточно его процитировать, иными словами – расчленить» [1, с. 385]. Решение вопроса о мере адекватности интерпретации Барт видит в коррекции дискурса о литературе в сторону такого качества, которого ему действительно недостает, а именно – иронии. «Ирония есть не что иное, как вопрос, заданный языком по поводу языка» [1, с. 384]. И это крайне важное наблюдение, т. к. такая позиция позволяет выстроить «горизонт» для определения перспективы дискурса о литературе, где, как полагает Барт, качество или степень точности высказывания определяется убежденностью или решимостью высказывающегося, а не только содержанием сказанного. Кстати именно в этой позиции, на наш взгляд, заключается исток и другой методологической перспективы, которую видел и сам Барт, и это – деконструкция, речь о которой пойдет позже.

В отличие от распространенного убеждения, что структурность текста (как любого другого объекта) определяется наличием идентичных, повторяющихся или, наоборот, оппозиционных элементов и способов их распределения, Р. Барт предлагает опираться на *различия* между

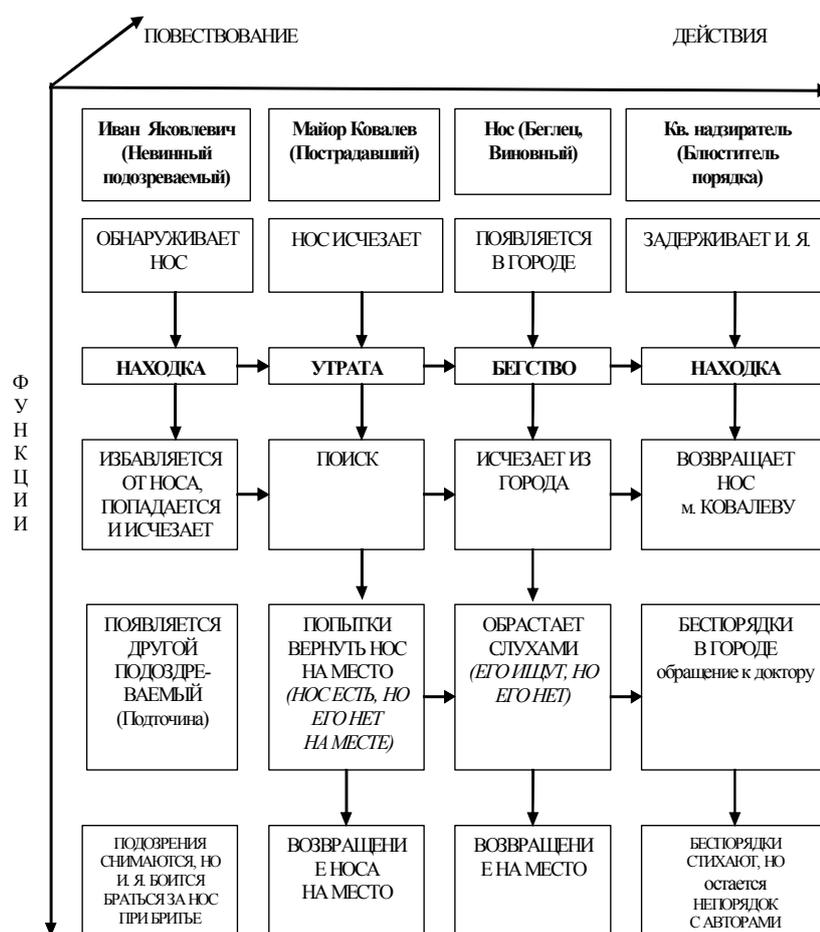
элементами текста. Смысл рождается именно в системе эксклюзивных и реляционных отношений, в которые вступает тот или иной (редкий или повторяющийся) элемент текста, что и определяет степень интегративности текста и его смысловую насыщенность. Структура повествовательного текста формируется в соответствии с основными сегментами повествовательного дискурса, и в качестве таких сегментов Барт выделяет три: 1) функции, т. е. единицы плана содержания текста или сюжетный элемент, сообщающий о происходящем; 2) действия или, точнее, действующие лица, персонажи; и 3) способ повествования, т. е. характер самого акта высказывания.

Функциональный уровень структурного анализа предполагает дифференциацию ядерных, т. е. основных (кардинальных) и каталитических функций, причем различие между ними определяется принципиальной устранимостью сообщения (катализаторы и другие вспомогательные функции можно удалить из текста без существенных изменений для его содержания). Ядерные функции связаны между собой отношениями солидарности, т. е. одна предполагает другую и наоборот, а с катализаторами – отношениями импликации, сочетающими хронологическую и логическую последовательность повествования. Система интеграции этих сюжетных единиц охватывает как вертикальный уровень отсылок, признаков функций, так и горизонтальный дистрибутивный уровень, представленный коррелятивными, оппозиционными элементами, образуя таким образом каркас повествовательного текста.

Анализ функций, особенно на дистрибутивном уровне, непосредственно связан с анализом действий, осуществляемых персонажами, типов отношений, в которые они вступают и которые они представляют. Учитывая различные подходы к классификации персонажей (например, главный или второстепенный, субъект, личность или безличностный функционер и др.), Барт допускает также разделение персонажей с точки зрения грамматического лица, что позволяет ему сразу же подключить и повествовательный уровень анализа, в котором авторское повествование также может быть рассмотрено как с позиции одного из персонажей, так и с отстраненной имперсональной позиции. Существенной особенностью такого анализа должна стать гибкость оперирования классификационными парадигмами, гибкость и игра различий и различений, что, безусловно, понятно в контексте данной модели структурирования текста и определения условий смыслообразования. Именно игра различий способна вызвать или, точнее, обеспечить принципиально *иронический* подход к анализу текста, т. е. проявить и озвучить сам язык литературного произведения.

Итак, предложенный Р. Бартом вариант структурирования текста требует соответствующей схемы, и поскольку речь идет об *объеме* возможного смысла, то она, на наш взгляд, по сути укладывается в хорошо

известную трехмерную систему координат, где традиционное распределение осей будет иметь значения уровней структурного анализа – «функций», «действий» и «повествования». Мы попытались выстроить структуру повести Н. В. Гоголя «Нос» в соответствии с бартовской концепцией анализа текста, и, исходя из этого, попробуем ее рассмотреть.



Сопоставляя распределение функций и действий, мы видим, что содержание повести конструируется как загадка или детективная история, с достаточно четкой логической и хронологической последовательностью развития ситуаций, как если бы речь шла о пропаже, например, драгоценностей и т. п. Однако речь идет о том, что, по здравому разумению, не может исчезнуть, т. к. не является самостоятельной вещью,

и не может пропасть таким образом, т. е. безболезненно и бесследно в прямом смысле этого слова. Недоумение, связанное с невозможностью выдвинуть хоть какие-нибудь предположения о причине или способе исчезновения носа с лица майора Ковалева, о появлении носа в печеном хлебе и возможности его превращения в статского советника, четко позиционируется за рамками структурного каркаса в начале повести и в самом ее конце, когда наступает чудесная развязка всей истории. Есть, правда, еще один озадачивающий момент, разрушающий «здравую» последовательность выполнения функций и действий. Этот момент, хоть и включен в структуру повествования, но он все равно находится на ее периферии – это поимка носа при попытке пересечь границу. Без разъяснений и каких-либо допущений остается то, как можно, разглядев в важном господине обыкновенный нос, тут же завернуть его в тряпочку и положить в карман.

Решение такого типа делает структуру функций и действий «Носа» гомоморфной структуре мифологического сюжета или структуре сообщения о происшествии (анализу последнего посвящена отдельная работа Р. Барга [2]), или и тому и другому одновременно. И это важно не только для установления жанровой идентичности, хотя само по себе это уже определяет смысловой горизонт или смысловой контекст произведения – если это и фантазмагория, то все же не просто забавный ребус или комическая / драматическая фантазия. Важнее всего то, что анализ структуры текста позволяет артикулировать существенные смысловые акценты, связанные с позиционированием невероятной случайности, отсутствия или разрыва причинных связей в описании происходящего и в представлении персонажей.

Очевидный и достаточно резко обозначенный контраст между «нормальными» обыденными поведенческими реакциями персонажей и аномалией происшествия усилен здесь тем, что обыденное, стереотипное, жестко симметричное по своей логике и хронологической последовательности вытесняет аномалию, антикаузальность на периферию или вообще за пределы повествования. Невероятность, нелепость и необъяснимость произошедшего артикулируется и осознается главным героем только лишь тогда, когда все его «законные» и «адекватные» усилия повлиять на ситуацию оканчиваются неудачей. Это одновременно и противоестественно, и естественно. А восстановление житейского порядка хоть и выявляет его неполноту – ведь остаются же такие «непорядочные» авторы, которые берутся за подобные сюжеты, – но опять таки опирается на вытеснение этого не порядка за пределы текста.

Форма порядка также вполне наглядно репрезентирована в структурном каркасе повести Гоголя – это уравнивающая симметрия

значений. На уровне распределения функций, как ядерных (на схеме выделенных жирным шрифтом), так и каталитических, выстроены симметричные синхронические и диахронические отражения-соответствия: как например, находка Ивана Яковлевича предполагает чью-то утрату (майора Ковалева), утрата предполагает исчезновение или, в данном случае, бегство носа, что, в свою очередь, предполагает поиск и находку пропажи. Разрывы последовательности выполнения функций опять же вытеснены на периферию, и их количество увеличивается по мере продвижения к финалу.

На уровне действующих лиц мы видим, что пострадавший (майор Ковалев) занимает центральное положение между невиновным, но подозреваемым Иваном Яковлевичем и виновным, нарушителем порядка Носом; Нос как персонаж вне закона занимает промежуточное положение между лишенным законного права майором и блюстителем порядка, обязанным это право восстановить (эту функцию выполняют и квартальный надзиратель, и частный пристав, и, в определенной степени, чиновник в газетной экспедиции, а также доктор как блюститель естественного порядка); соответственно, если имеется подозреваемый, значит должен быть и пострадавший, а также должен быть и ликвидирующий подозрения и т. п. Кстати, нельзя не обратить внимание на синхронию и зеркальную симметрию замещений действующих лиц – когда место подозреваемого занимает штаб-офицерша Подточина, место блюстителя порядка достается доктору, причем Подточина подозревается майором Ковалевым в колдовстве, но тут же получив свой найденный нос, он обращается к доктору в надежде вернуть его на место естественным, хотя и немислимым, невероятным порядком, т. е. в представлении Ковалева колдун-злодей, действующий по произволу, противопоставляется доброму магу-волшебнику, следующему истинному порядку. Однако ни один из них не выполняет предписанной функции, а Нос «сам по себе» возвращается на место, что делает достаточно очевидным присутствие некоей иной непреодолимой власти, управляющего начала, связь с которым практически невозможна.

Таким образом, становится ясно, что порядок, вытесняющий и устраняющий невероятное, обеспечивается именно на уровне схем, конструкций, выстраивающих отношения, а не на уровне элементов, индивидов с их активностью (которые к тому же и именно поэтому всегда могут быть заменены другими). Именно такая форма порядка может «позволить» себе играть со случайностью и способна справиться с самым невероятным. Здесь мы, похоже, сталкиваемся с указанием на своего рода мифологию порядка, трансцендентного обыденной жизни и любому положению вещей, при этом для нас остается тайной, как связаны и связаны ли между собой единичность случая нарушения порядка и

незыблемая тотальная способность порядка к восстановлению; та же ли самая сила или разные вызывают и осуществляют как противоестественный сдвиг, аномалию в положении вещей, так и естественную обратимость структур и форм порядка.

Хотя если ограничиться характером описанной структуры текста, можно допустить, что симметрия оппозиций в данном случае свидетельствует о наличии глубинного баланса между ними. И если об условии такого баланса остается только догадываться, то более или менее ясным становится то, что вся конструкция устроена именно с расчетом на противопоставление оппозиций, что она нуждается не иначе, как во взаимоисключающем, дифференцирующем, противопоставлении. В данном случае, это относится к функциям и действиям персонажей – например, у майора Ковалева не возникнет даже и мысли о его возможной виновности в том, что с ним случилось, а когда он все-таки пытается действовать самостоятельно, а не искать того, кто должен или может восстановить порядок – сам пытается приладить нос к месту – то нелепо даже предположить, что его действия будут успешны и что результат в его власти. Это означает, что равновесие и баланс оппозиций не достигается здесь на основе взаимопроникновения или хотя бы наличия, вкрапления однородных компонентов, что обеспечило бы, так сказать, рефлексивную симметрию, симметрию взаимоотражений. Отсюда, кстати, вполне логично вытекает тотальная система зависимостей, репрезентированная в повести иерархической жесткостью социального устройства, а в более широком, историко-социальном, контексте – нашей общинной «повязанностью» и взаимозависимостью. Тогда порядок в таком его модусе необходимо требует наличия аномалий, так как он утверждается и функционирует за счет эксплуатации аномальности.

В этом смысле показателен анализ действий персонажей со стороны автора. Гоголь выстраивает свое повествование и говорит о всех действующих лицах в третьем лице, принимая тем самым отстраненную позицию наблюдателя. Но при этом он постоянно меняет «точку зрения» с внешней на внутреннюю: то он описывает только лишь поступки, то – мотивы, настроения, соображения. Авторские реплики и комментарии звучат в общем строе также отстраненно, хоть и с едва скрываемой иронией, и только в самом конце повести его «прорывает» – Гоголь начинает говорить в первом лице, перечисляя все накопившиеся вопросы. Однако он тут же отстраняется от своей роли как автора, высказываясь здесь не просто в третьем лице, а в третьем лице множественного числа и оценивая таких «авторов» весьма скептически, и уже после этого он позволяет себе сдержанно-сбивчивое заключение.

Эта дистанцированность, с одной стороны, определяется и проявляется исключительно ироничной позицией автора в исконном

значении этого слова, а, с другой стороны, хоть это и покажется слишком смелым допущением, но возможно, что дистанцированность становится символической отсылкой к авторству как таковому, то есть – к ответственности и власти, к способности и, особенно, праву провоцировать и управлять. Соответственно, отстраняясь от авторства, Гоголь не признает за собой такого права и такой ответственности, что приводит к мысли, что и себя-то он признает только частью данной формы порядка, только действующим лицом в некоем непостижимом плане или замысле.

Но такая позиция свидетельствует и о признании не-значимости, незначительности самого себя как автора, также это может относиться и к персонажам повести, что, по сути, ставит под вопрос их действительное присутствие или наличие в качестве необходимых действующих и действенных функций. И, таким образом, в повести открывается странная картина – это картина мультиплицированного не-присутствия или самоустранения: начиная от отсутствия носа на лице майора Ковалева и даже отсутствия следа от этого носа и заканчивая отсутствием автора и, в конечном итоге, авторства как такового (демиурга), но при этом ничто и никто никуда не исчезают, а проявляются как указатели-обозначения, по которым можно проследить общую внеположенную, трансцендентную, схему движения смысла в другом, скрытом, ненаписанном тексте.

Именно эти акценты позволяют представить данный гоголевский текст еще и как художественное воплощение и даже иллюстрацию задач и установок деконструкции, так как это текст, в котором Гоголь деконструирует саму реальность, подвергая ее «сжатиям и искривлениям», допуская опыт различения и децентрации, опыт мышления не-присутствия, неразрешимости, в котором наличие и отсутствие позиционируются, артикулируются в возможной дифференциации их значений. А у Деррида, например, можно найти такие пассажи, которые можно было бы представить как готовый комментарий к смыслу рассматриваемой нами повести Гоголя [5, с. 138–139]. Однако здесь необходимо соблюдать осторожность и четко понимать разницу между образной иллюстрацией к установкам и интенциям, которым следует какая бы то ни было теория и тем, что эта теория может дать, как она может быть применена при решении определенных задач. Даже несмотря на то, что проиллюстрировать теорию (или, например, идею, стратегию) и применить ее, может означать всего лишь замену в конкретике содержания, соответствующего одному и тому же смыслу или принципу (данной теории, идеи...), может означать, в конце концов, одну и ту же процедуру интерпретации, тем не менее различие между этими двумя операциями должно сохраняться, поскольку их векторы и характеры мотивации не совпадают между собой. Иллюстрация как разъяснение смысла, условно

говоря, «интровертна», пассивна, условна, гипотетична и т. д., а применение как продуцирование, как результат работы – наоборот, «экставертно», активно, конкретно, практично и т. д.

В нашей ситуации сложность заключается в том, чтобы применить опыт деконструкции к опыту, подобному деконструкции, и хотя, конечно, здесь можно и нужно подразумевать различие между данным специфическим философским дискурсом в первом случае и литературой во втором (что может показаться некоторым облегчением), но тем не менее здесь необходимо удержаться от соблазна прямого наложения, отождествления или поиска переключек конфигураций мысли, приемов и т. п., применяемых в одном и другом случаях. И поэтому литературный текст здесь следует рассматривать только как данность знаков, репрезентирующую систему означающих и игру различий, которые не вписываются в порядок понимания, и где «нельзя удержаться от следования путем *написанного текста*, от приведения в порядок того беспорядка, который в нем совершается...» [5, с. 127].

Здесь особо следует пояснить, о какого рода порядке должна идти речь, и, соответственно, в каком смысле деконструкция может быть применена при интерпретации текста. Принимая всерьез игру языка (как это, в частности, видел еще Р. Барт) и указывая на глубинные непроговоренности текста как на следы и симптомы, проявляющие знаки отсутствия, отсутствующее, неразрешимое (как это представлял Ж. Деррида), деконструкция в ее методологическом статусе требует разворачивания того, что скрыто в языке, в тексте, чтобы обнаружить условия и характер производства, организации значений в их ценностном измерении. С одной стороны, деконструкция представляет собой, особый род критического мышления, точнее, «апоретологию», «апоретографию» для метафизики упорядоченности как тотальности – она призвана вскрыть принципиальную неразрешимость тех решений, которые возникают в рамках принятых метафизических предпосылок [7, с. 79]. Но тем не менее, с другой стороны, деконструкция предполагает и особый род конструирования или конструктивности, который выстраивается на необходимости «разрыва с симметрией», и относится это прежде всего к противопоставляющей симметрии бинарных оппозиций метафизики: наличия и отсутствия, бытия и небытия и т. д. Поэтому деконструкция требует скольжения, сдвига, отклонения от метафизического смысла понятий, требует различания, артикуляции и дифференцирования, которые обращают противопоставление в связанность, в бесконечный обмен знаков.

В этой связи «...исполнение деконструкции следует двум разным путям или стилям, которые оно по большей части прививает друг к другу. Первый стиль обосновывающего, и по-видимости, неисторического рода:

высказываются и выводятся формально-логические парадоксы; другой – исторический и анамнестический, кажется, стиль чтения текстов, стиль заботливой интерпретации и генеалогического метода» (цит. по: [7, с. 89]). Движение по ускользающему следу – следу, возникающему в результате этих смысловых сдвигов и отклонений, игры знаков, предполагает принципиальную незавершенность, спонтанность процесса интерпретации. Ведь след как знак отсутствия невозможно даже зафиксировать (след стирается), а уж тем более дойти до его первоисточника, ведь даже если знаки и имеют свой собственный подлинный смысл, они всегда могут принимать другой смысл, и у нас нет вполне надежных средств, которые позволили бы различать смысл подлинный и смысл, артикулируемый в данный момент. В качестве же критерия и ценности, определяющих смысл и «неупорядоченный» порядок самой деконструкции, остается только справедливость, которая и в методологической и в этической значимости должна поставить единичное в справедливое отношение ко всеобщему (см.: [7, с. 83]).

Кстати, именно поэтому для деконструкции нет и не может быть образцов, лекал и каких-либо схематизаций. «Я настаиваю на том, что не существует одной единственной деконструкции. ... Деконструкции совершаются повсюду, и они всегда зависят от особенных, локальных, идиоматических условий. ... я знаю и напоминаю моим читателям, что деконструкция должна быть единичной и зависеть от различных конкретных условий, в которых она возникает» (цит. по: [7, с. 89]). И именно поэтому деконструкция становится сродни искусству, что выводит ее за рамки мышления и метода, опирающихся на стандарты общезначимости или общепринятые представления о методологической последовательности и уж тем более – об образцах, задаваемых значимостью авторитета.

Итак, принимая во внимание сказанное выше, мы попытаемся проследовать за смысловыми метаморфозами в повести Гоголя. То, что в печеном хлебе обнаруживается чей-то нос, представляющий собой не отделенную часть лица (т. е. без следов отделения), а отдельное целое, и то, что майор Ковалев обнаруживает отсутствие на своем лице не только самого носа, но и даже следа от его присутствия, становится свидетельством или знаком некоего невероятного сдвига, сдвига, относящегося либо к самому порядку существования, либо – к тому, что питает нашу уверенность в существовании этого порядка, либо – к тому, как мы его себе представляем. Сама возможность сдвига проявляется через разделение и смещение в наличествующем, а значит, предполагает промежуток, разлом в этом наличествующем, который и приводит к раздвоенности или размноженности – т. е. к отделенности. *Отделение*, спонтанное, необъяснимое, своевольное и напрасное, и *отделенность*,

полная, бесследная, когда отсутствует даже след присутствия, непреодолимая и безнадежная (так как невозможно даже заявить об этом или рассчитывать на восстановление прежнего, нормального состояния), составляют ситуацию чистой единичности, а, значит – ситуацию события.

Конечно же, событие такого рода обуславливает полное смещение и перераспределение значений. То, что было незаметно и незначительно, обретает значимость: ведь нос, хоть и всегда на виду, но, как правило, не привлекает особого внимания, если не имеет особых, характерных черт; хоть без носа, в конечном итоге, можно и обойтись, его отсутствие тем не менее нельзя скрыть. С исчезновением носа с лица майора Ковалева оказывается, что значимость его персоны полностью утрачена, а точнее получается, что целостность как условие, определяющее существование и функционирование своей несущественной части, уже не представляет ценности, становится *неполноценной* – «без носа человек – черт знает что: птица не птица, гражданин не гражданин, – просто возьми да и вышвырни за окошко!» [3, с. 247]. И в то же время, сама часть целого способна обрести целостность и полноценность, пусть даже в силу ненадежного, софистического по своему характеру, основания – часть целого сама должна быть целой. Это дает поразительную возможность превращения какого-то носа в лицо, в самостоятельный персонаж, являющийся как господин высокого ранга.

Однако такой «подтекст», который мы выявляем в качестве означающего для данного знака (исчезновения носа) – этакое парадоксальное «отсутствующего присутствия» и «отделенной, разделенной, нецелой целостности», – должен быть деконструирован, т. е. подвергнут рассеиванию и дифференцированию по отношению к принципам здравомыслия, должен быть *исследован* как след, указывающий на отношение аномальности и порядка. Так, получается, что это отсутствующее присутствие и это нецелое целое только на первый взгляд могут показаться парадоксом, на самом же деле они вполне соответствуют симметрической установке здравого смысла и являются *следствием* представления о порядке как абсолютной и предельной симметрии самого бытия – ничто из ничего не возникает, и ничто никуда не исчезает. Перераспределение значимости (майор Ковалев ее теряет, Нос приобретает) отражает тот же принцип, только в другой интерпретации: «где чего убудет, ...». Кстати, тогда понятно, почему майор Ковалев в данных обстоятельствах не теряет рассудок, что вполне было бы возможно, и действует в соответствии со схемами обыденного поведения.

Аномальная, самопроизвольная утрата целостности, когда исключительная единичность представлена как отделенность и расчлененность, конечно же, приводит к растерянности и уязвимости

(состояния, переживаний того, кто не такой как все), к раздвоенности (дорог, решений, объяснений – каждый раз перед майором Ковалевым возникает та или иная альтернатива). И соответственно, аномалия как отклонение от «нормы» или нарушение привычного стандарта не заслуживает не только одобрения, но, напротив, должна быть отвергнута. Напрасно доктор будет уговаривать майора Ковалева сохранить эту аномалию – для последнего лучше *остаться с носом*, чем с исключительностью. Правда, доктор, хоть и способен увидеть принципиально новую возможность, открывающуюся для будущей жизни майора, если превратить недостаток телесный в достаток денежный, тем не менее все это предполагает его глубинную убежденность, что аномалия заслуживает только отстранения и изоляции (в данном случае – как материал для демонстрации, а не для изучения), что ее интригующий смысл сводится лишь к наглядному противопоставлению привычному стандарту, принимаемому за норму. Иначе она теряет свою привлекательность, в первую очередь, для зевак (и как не вспомнить здесь посещаемость петровской Кунсткамеры...).

Но главное, что ставит аномалию вне закона и делает ее опасной, так это то, что «этакая пасквильность», по выражению Ковалева, выглядит как насмешка и издевательство над порядком, даже тогда, когда внешне порядок представлен игрой случайности. Не удивительно в этой связи, что отделившийся и претендующий на самостоятельность нос бежит из Петербурга, но пойман и возвращен. Единичность как обособленность и отделенность не может быть ни законной, ни узаконенной, спастись она может только бегством, хотя даже приобретя *лицо* или рядясь в *личину*, она будет без труда *изобличена* – для этого достаточно надеть соответствующие очки, и тогда в важном господине обнаружится всего навсего нос как только лишь незначительная часть большого целого. Поэтому крайне необходимым становится возврат того, что выходит за рамки, отделяется и разделяет, ведь единичность важна и значима здесь только как часть единого. «Россия такая чудная земля, – заметит Гоголь, – что если скажешь об одном коллежском асессоре, то все коллежские асессоры, от Риги до Камчатки, непременно примут на свой счет. То же разумеешь и о всех званиях и чинах» [3, с. 242].

В такой интерпретации становится понятно, что весь потенциал событийности, заложенный в подобных невероятных обстоятельствах, нивелируется и дискредитируется, что даже немыслимо невероятное вполне может и должно остаться простым случайным происшествием, которое на какой-то момент обрастает нелепыми слухами, возбуждает ажиотаж, да и только, но, в конечном итоге, не повлияет на положение дел, не развернет траекторию предопределенного движения. Разумеется, событие может остаться незамеченным или замеченным поздно, в силу

инерции мышления, стабилизирующих культурных механизмов и т. п. Но здесь получается, что у него просто нет шансов, событие невозможно, т. к. какие бы исключительные потрясения, колебания и сдвиги не охватывали элементы системы или саму систему, она возвращается в свой обычный режим, какие бы разветвления и иные возможности не открывали ей другой путь, она возвращается на круги своя. В данном случае это позволяет лучше понять эту особую, трагикомичную, модель порядка, в которой легко сочетаются непредсказуемость произвола, своеволия и предопределенность общей воли.

Итак, мы попытались показать и сравнить те возможности интерпретации повести Н. В. Гоголя «Нос», которые могут дать структурализм и деконструкция. На наш взгляд, в данном случае эти два, принципиально разных, подхода позволяют выйти к довольно близким по сути смысловым акцентам, хотя и с очевидными различиями в нюансах. Подводя итоги, можно сказать, что такой опыт имеет значение прежде всего для того, чтобы все таки удержаться от произвольности толкований художественного текста, даже несмотря на их предполагаемое неограниченное множество. Такой опыт, в котором мы вынуждаем себя придерживаться определенной методологии или стратегии, как раз существенно инициирует и сосредоточивает наше внимание на тексте, позволяя не только собрать определенное смысловое целое в качестве удовлетворяющего результата, но и выделить, зафиксировать упущенные, не вписавшиеся в силу тех или иных ограничений, но открытые возможным будущим прочтениям элементы или мотивы текста.

1. Барт Р. Критика и истина. Введение в структурный анализ повествовательных текстов // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX–XX вв.: Трактааты, статьи, эссе.– М.: МГУ, 1987.– С. 349–422.
2. Барт Р. Структура «происшествия» // Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры.– М.: Изд. им. Сабашниковых, 2003.– С. 399–410.
3. Гоголь Н. В. Нос // Гоголь Н. В. Повести. Драматические произведения.– М.: Худож. лит., 1984.– С. 240–253.
4. Декомб В. Современная французская философия.– М.: Весь мир, 2000.– 344 с.
5. Деррида Ж. DIFFERANCE // Гурко Е. Тексты деконструкции. Деррида Ж. DIFFERANCE.– Томск, 1999.– С. 124–158.
6. Лотман Ю. М. Культура и взрыв // Лотман Ю. М. Семиосфера.– СПб.: Искусство-СПб, 2004.– С. 32–149.
7. Штегмайер В. Жак Деррида: деконструкция европейского мышления. Баланс // Герменевтика и деконструкция. Под ред. Штегмайера В., Франка Х., Маркова Б.– СПб.: Б.С.К., 1999.– С. 68–92.
8. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию.– СПб.: Симпозиум, 2004.– 544 с.